

В. В. КАЛУГИН

Теории текста в русской литературе XVI в.

Традиционное обожение канонического текста получило наиболее полное теоретическое обоснование в грамматическом трактате XV в. Константина Костенческого. Д. С. Лихачев связал его учение с философией православного Возрождения исихазмом и вторым южнославянским влиянием на Руси: «Константин Костенческий исходит из убеждения, что каждая особенность графики, каждая особенность написания, произношения слова имеет свой смысл. Понять вещь — это правильно ее назвать. Познание для него, как и для многих богословов средневековья, — это выражение мира средствами языка. Слово и сущность для него неразрывны. Отсюда его чрезвычайное беспокойство о каждом случае расхождения между ними, которое может получиться от неправильного написания, от неправильной формы слова. Эти расхождения могут привести к ереси и, во всяком случае, к неправильным воззрениям. Отсюда главной задачей науки он считает создание правильного языка, правильной орфографии, правильного письма».¹

В эпоху православного Возрождения этот правильный язык был призван стать общим литературным языком *Slavia Orthodoxa*. Написанные на нем сочинения следовало передавать со всевозможной точностью. Иосиф Волоцкий приказывал, что, если кто-нибудь из братии «увидит, что в книзе погрешение, ино не переписать, ни вырезать, сказати настоятелю, и с иныя книги исправить».²

Традиционное отношение к тексту передают показания помощника Максима Грека Михаила Медоварцева на церковном соборе 1531 г. Редактируя рукопись, Максим велел ему стереть испорченное место — великий отпуст в Троицкую вечерню. Повинуясь приказу, Медоварцев соскоблил две строки, но, потрясенный содеянным, остановился, будучи не в силах продолжать дальше. «...дрожь моя великая поимала и ужас на меня напал», — свидетельствовал он на суде. Тогда святогорец собственноручно «загладил» оставшийся текст и, по мнению председательствовавшего на соборе митрополита Даниила, уничтожил «великий догмат премудрый».³

Максим Грек и люди его круга (Дмитрий Герасимов, Федор Карпов, старец Силуан, Нил Курлятев, Андрей Курбский и др.) — представители нового культурного сознания на Руси. Они высоко ценили гуманитарную ученость книжника и предъявляли к его труду требование филологической работанности текста. В их глазах древность рукописи не являлась неопро-

¹ Лихачев Д. С. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России // Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе Л., 1986 С. 20

² ДАИ СПб., 1846 Т. I С. 359

³ Судные списки Максима Грека и Исаака Собака / Изд. подгот. Н. Н. Покровский М., 1971 С. 106

вержимым доказательством ее истинности. Старинный перевод мог быть отвергнут, если противоречил законам грамматики и риторики. Новое, филологическое направление в литературе подрывало веру в непогрешимость книжно-славянских образцов, окруженных ореолом святой старины. Оно открывало возможность для усовершенствования старых и создания новых переводов. Оппоненты Максима Грека рассуждали иначе. Священное Писание было для них откровением и словом Божиим, которое могло существовать лишь в первоначальной, законченной и неизменяемой форме.⁴

Таковы были теоретические запреты. Но жизнь вносила в них свои коррективы. Как установила Л. П. Жуковская, древнерусские писцы делали лексические замены, вставки и пропуски даже в таких памятниках, как Евангелие.⁵ Далеко не каждая невольная ошибка рассматривалась как искажение религиозных догматов и смертный грех. Против таких представлений выступали сами традиционалисты. Один из вождей старообрядчества дьякон Федор Иванов относился к ученой когорте писателей. Он разработал солидную аргументацию в защиту древнеправославных обрядов, требуя критического отношения к тексту: «За опись бо кую в книге какой ни есть и погрешенное слово не подобает нам ни спиратися, ни стояти; а за превращение книг старых и догмат правых изменение подобает всякому христианину и страдати и умирати, обаче с разумом, испытав вещь всякую опасно писанием святых отец».⁶ Рационализм и ортодоксальность дьякона Федора сближают его с критически настроенными писателями XVI в. Нилом Сорским, Максимом Греком, старцем Артемием, князем Курбским.

Отношение к тексту в значительной степени зависело от его содержания и жанровой принадлежности. Дипломатические послания находились на границе литературы и деловой письменности. В них было возможно многое из того, что категорически запрещалось в церковнославянской книжности. В переписке с Иваном Грозным шведский король Юхан III обвинил его в тайных сношениях со своим противником, низложенным монархом Эриком XIV, и обещаниях помочь узнику. Признав факт обмена письмами, царь возразил, что слово без дела ничего не значит. Он отвечал, уверенный в своей правоте: «...коли дела не было, ино о чем говорити? А грамота что знает? Написано, да и минулося».⁷

В пылу спора Грозному случалось проговориться и высказать вслух сокровенные мысли. В данном случае они напоминают взгляды Никколо Макиавелли. В его трактате «Государь» одна из глав посвящена тому, как правители должны держать слово. Макиавелли был убежден, что в большой политике, жестокой и аморальной, властитель вправе нарушить любые обязательства, если это принесет пользу ему и его стране.⁸ Нет никакой необходимости предполагать знакомство царя Ивана с сочинениями флорентийского мыслителя, как это делал И. И. Полосин.⁹ «Макиавеллизм» Грозного проистекал из его опыта политической борьбы с противниками, не останавливавшимися ни перед чем для достижения своих целей. Во взглядах Макиавелли и Ивана IV отражены общие черты психологии самодержавной власти.

⁴ См. Матхаузерова С. Древнерусские теории искусства слова. Прага, 1976. С. 20, 49.

⁵ См. Жуковская Л. П. Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976.

⁶ Материалы для истории раскола за первое время его существования / Под ред. Н. И. Субботина. М., 1881. Т. 6. С. 127.

⁷ Послания Ивана Грозного / Подгот. текста Д. С. Лихачева и Я. С. Лурье. М., Л., 1951. С. 152.

⁸ Макиавелли Н. Избр. соч. М., 1982. С. 351.

⁹ Полосин И. И. О челобитных Пересветова // Учен. зап. Моск. гос. пед. ин-та. Каф. истории СССР. М., 1946. Т. 35. С. 47—50.

Об относительности и мимолетности названий Грозный рассуждал в письме 1577 г. великому маршалу литовскому Яну Ходкевичу. Царь наотрез отказался признать его право называться администратором и гетманом Литвы, считая ее вотчиной московских государей. Вместе с тем по политическим соображениям он хотел заручиться поддержкой влиятельного в Речи Посполитой магната. Монарх философски утешал лишенного им титулов Ходкевича тем, что «слово мимолетно, а не постоянно».¹⁰ Высказывания такого рода можно расценить как дипломатические уловки. Когда речь шла о царском титуле или важных документах, Иван IV требовал «беречи того, чтоб грамота была написана <...> слово в слово, а ни прибавки бы, ни убавки в той грамоте не было», и тщательно следить за тем, чтобы не допустить «описи словесную».¹¹ Но, как отмечает Д. С. Лихачев, стили поведения Грозного оставили неизгладимый след на его творчестве.¹² Иван свободно обращался с книжным языком и литературным этикетом, поступал так, как подсказывали ему обстоятельства, — короче говоря, действовал по правилу: «Написано, да и минулося». Конечный результат и польза дела были для него превыше всего.

Новое отношение к тексту отчетливо заметно у его противника Курбского. Он перенес требование абсолютной точности во внешней форме произведения на всю ученую книжность, в том числе и не входившую в традиционный корпус церковной литературы. В «Сказе о логике» князь Андрей просил тщательно копировать переведенные им «Диалектику» Иоанна Дамаскина и статью «О силлогизме» протестанта И. Спангенберга, ученика Мартина Лютера: «...прошу и молю, сбереже же яко зеницы ока то е вещи <...> аще лучится преписовати кому будет, Бога ради не давите неискусным философских писати, но нарочитым мужем, и искусным в писаниих, и смиренномудрием украшенных, а не ис полуписания умеющим, або презоривым и гордым, мнящимся быти мудрым и ничто же разумеющим. Бо аще премудрых мужей хто книги преписует, аще и мало в чом нарушит, уже ни во что же бывают, бо то не летописные книги або кроники просте без гаданей (без сокровенного смысла. — В К.) и без великих содержаней разума пишутся, а те не сице, но яко прилежне читаючи их лепей размотри-те».¹³

Летописи и хроники были отнесены к низшим литературным жанрам по той причине, что они не имеют философского подтекста, а их предметное значение лежит на поверхности и понятно каждому. Точка зрения Курбского отчасти объясняет, почему его постоянные требования пуристического отношения к слову уживались с регулярными нарушениями книжно-славянских традиций в «Истории о великом князе Московском». Она писалась не «философским обычаем», а потому ее форма допускала большую свободу в выборе языковых средств по сравнению с учеными трактатами.

Требование абсолютной точности в передаче текста касалось только «высокой» книжности — церковной литературы, богословия, философии, риторики. Эта установка повлекла за собой стремление к унификации внешней формы. Максим Грек критиковал нарушение законов правописания и декламации в «епистолии» — послесловии — к «Беседам на Евангелие от Матфея» Иоанна Златоуста: «Нам же ниже точку, ниже запятую съблюдающим,

¹⁰ Послания Ивана Грозного С 206

¹¹ Сборник императорского русского исторического общества СПб, 1887 Т 59 С 314, 1892 Т 71 С 797

¹² Лихачев Д. С. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси М 1975 С 286—287

¹³ См. Eismann W. O silogizme vytkovano Eine Übersetzung des Fürsten Andrej M. Kurbsky aus den Erotemata Trivu Johann Spangenberg's Wiesbaden, 1972 S 80

ниже ум прочитаемых, идеже подобает съвершити, попечение творим, но все вкупе смешающим же и сливающим безчинне...».¹⁴ Перевод «Бесед» был выполнен с греческого подлинника под наблюдением Максима его учеником старцем Силуаном в 1523/1524 г. Князь Андрей изучал этот труд во время работы над «Новым Маргаритом».

Придавая первостепенное значение филологической обработанности текста, Курбский сделал попытку упорядочить пунктуацию. Она была объявлена необходимой частью литературного языка. Боярин поместил в начале «Нового Маргарита» «Сказ о знаках книжных». Источник статьи не установлен, но в ней употребляются латинские термины *кома* «запятая» (*comma*), *колон* «двоеточие» (*colon*), *парентезис* «круглые скобки» (*parenthesis*).¹⁵ В «Сказе о знаках книжных» со ссылками на греческое и латинское правописание объясняется, где и почему нужно ставить знаки препинания. Их назначение — передавать смысловое членение речи и фразовую интонацию. Для Курбского достоинство текста заключалось не в его древности и застывшей форме, а в грамматической нормализации по примеру греческого и латинского языков. «Того ради молюся вам, — обращался он к читателям, — аще преписоватися будет от кого-либо книжка сия не пременияте знаков тех, бо и вам будет ко прочитанию полезно и аще узрят ученые во словенском языке с теми значками писану книгу, не точию пред ними будем не посрамлени, но и похвалены, понеже в греческих книгах таковые же знаки суть» (Курбский 1976, л. 8 об.).

Взгляды Курбского имеют отпечаток интеллектуального аристократизма. Грамматически обработанное и риторически украшенное слово было рассчитано на ученых книжников. Князь Андрей противопоставлял искусную декламацию в соответствии с пунктуационными законами грубому пению простолюдинов — калик перехожих, исполнявших духовные стихи: «...бо риторски або философски сложенные писма риторски читаемы быти хотять, а не варварски, ни калишки, яко строим у врат и под окны вспевати обычай...» (Курбский 1976, л. 8).

Иная концепция текста, отличная от точки зрения Максима Грека и Курбского, изложена в Толковой Псалтири епископа Брунона Вюрцбургского. Книгу перевел с латыни Дмитрий Герасимов по поручению архиепископа новгородского Макария в 1535—1536 гг. Среди ее начальных глав имеется полемическое сочинение, заимствованное из предисловия к Псалтири Кассиодора: «Еже сия Псалтырь ради различия точек и речения единых да не будет к образу иных исправляема, ниже иных к тоя образу исправляти».¹⁶ Статья начинается с осуждения книжника, который, увидев различия между списками Псалтири, «тщетныя славы желая, или кичением надмен, или неразумным и нерасмотреливым благоговением попечение имея, елика же чтет — преправляти спешит». Автор считает, что если слова имеют одно значение или даже «иныи разум, но не убо чюждь или неправ и истине несъгласен, но благоутробна», то не стоит исправлять их (л. 5). Он запрещает даже «народная словеса, в иных псаломских книгах обретаемая <...> пременияти на наши, разве в толкованиих» (л. 5 об.).

Тем более, по его убеждению, не следует редактировать пунктуацию, перенося ее из одной Псалтири в другую, за исключением тех случаев, когда знаки препинания искажают смысл. Полемист не разрешает даже из хорошо

¹⁴ РГБ, собр. Е. Е. Егорова (ф. 98), № 920, л. 335 об., 20-е гг. XVI в.

¹⁵ Kurbskij A. M. Novyj Margarit Historisch-kritische Ausgabe auf der Grundlage der Wolfenbüteler Handschrift / Hrsg. von I. Auerbach. Giessen, 1976. Bd 1. Lfg 1. S. 8, 8 v (далее ссылки в тексте Курбский 1976).

¹⁶ РНБ, собр. Соловецкого монастыря, № 1039/1148, л. 5—7 об., сер. XVI в. (далее ссылки на листы в тексте).

исправленных Псалтирей заимствовать «слова и знамена и точки», чтобы не причинить вреда. Ссылаясь на «Исповедь» епископа Августина Гиппонского, он доказывает возможность разной передачи текста в зависимости от его понимания: «Егда различная в тех же словесах разумеется могут, яже убо истинна суть, аще ли кто иное ощущает. <...> Ничто же зла есть, егда обое истинно есть, тем же ни супротивляется» (л. 6). В статье призывается подражать отцам церкви, которые «многа истинная в едином стисе выдающе, и к коемуждо истинному пригоже, точки поставляюще» (л. 6 об.).¹⁷

Своеобразие этой теории в литературе Московской Руси, и в особенности противоположный господствовавшему пуристическому отношению к тексту запрет исправлять «народная словеса» на книжные, можно было бы объяснить переводным характером статьи. Но и в оригинальной русской литературе XVI в. имеются похожие суждения. Вынося свой труд на суд общественного мнения, средневековый писатель обращался к читателям с этикетной просьбой улучшить и украсить его несовершенное создание. В предисловии к «Новому Маргариту» Курбский извинялся перед знатоками орнаментальной прозы и просил исправить его ошибки. Он откровенно признавался в том, что забыл некоторые «высокие» церковнославянизмы и был вынужден перейти на разговорный язык: «И аще где погреших в чом, то есть не памятаючи книжных пословиц словенских, лепотами украшенных, и вместо того где буде простую пословицу введох: пречитающими молюся с любовию и хриstopодобною кротостию да исправятся...» (Курбский 1976, л. 7).

Иначе считал новгородский монах Зиновий Отенский. Он предупреждал переписчиков своего сочинения «Истины показание к вопросившим о новом учении»: «Иже аще волит кто коея ради потребы преписати что от книжиц сих: молю не пременять простых речей на краснейшая пословицы и точки и запятая; но тако преписовати, якоже лежат речи zde и точки и запятая. Аще ли же учнешь пременять ты, добрый мудрый писарю, пословицы и точки и запятая: будут убо книжицы сия ниже твоя, ниже предположившаго их; и твоя бо краснейшая пословицы изгибнут в грубых пословицах, и грубые твоим мудрованием смятутся, и будут книжицы вне истины. Того ради молю тя преписовати тако, якоже лежат речи и точки и запятая, да будут не вне истины книжицы сия».¹⁸ Выступая в литературных спорах с позиций языкового пуризма, Зиновий Отенский заявил о превосходстве содержания над формой, чтобы оправдывать свои нарушения книжно-славянской традиции: «Не о красоте бо слова бе чтимое, но о истине показание... И иже аще по лепоте произведется слово, Богови есть благодать; аще ли недостаточно обрящется в нем, отпущение грубости буди».¹⁹

Эта точка зрения близка взглядам полемиста в Толковой Псалтири, призывавшего отличать существенное от маловажного и утверждавшего, что дело не в точках и отдельных словах, а в смысле целого. Новым в воззрениях Зиновия Отенского является то, что он рассматривал произведение как результат индивидуального творчества. Он требовал точности в передаче текста в силу вполне осознанных представлений об авторской собственности. Отказываясь от помощи искусных книжников, он стремился сохранить авторскую редакцию, хотя и несовершенную, но точно передающую его замысел и особенности литературной манеры.

¹⁷ См также Ковтун Л. С. Лексикография в Московской Руси XVI—начала XVII в. Л., 1975. С. 43, сн. 140, 63.

¹⁸ Зиновий Отенский. Истины показание к вопросившим о новом учении. Казань, 1863. С. XI—XII.

¹⁹ Там же. С. 1. Ср. Там же. С. 964—967.

Понятие авторского текста существовало и для других писателей XVI в. Максим Грек объяснял происхождение акростиха в византийской литургической поэзии борьбой с плагиатом: «...нецыи творцы каноном, блдоущесе тех, иже по страсти тпеея славы чюжия труды присвояют к себе и о тех аки о своих хвалятся, да онех убо избавят похвалы сея яже по страсти суетныя, себе же соблюдут еже от поющих духовныя труды их благословение и убажение, сего ради умыслиша сугубу глаголемую по-гречески акростихиду, еже есть по-русски краестрочие, или краеграние...».²⁰ Акростих является одним из старейших приемов тайнописи. Тайнопись была компромиссным решением. Она позволяла средневековому писателю заявить о себе без боязни показаться тщеславным и вместе с тем скрыть свое имя, как это предписывал литературный этикет. Однако Максим Грек понимал акростих как средство защиты авторской собственности. Его слова отражают наметившиеся перемены в отношении к тексту.

У древнерусских книжников, как и у их собратьев по перу в Византии, Болгарии, Сербии, был распространен обычай выдавать свои произведения за творения знаменитостей прошлого, отцов церкви. Это была своего рода ссылка на литературный образец, по модели которого создавалось новое сочинение.²¹ Большой популярностью пользовалось имя Иоанна Златоуста. Е. Э. Гранстрем исследовала в славяно-русских рукописях XI—XIV вв. 287 проповедей с именем этого ратора. Авторство 65 из них не установлено. Из остальных 222 памятников всего лишь 6 являются подлинными сочинениями Златоуста.²²

Курбский обличал еретиков, выдававших свои лжеучения за святоотеческие творения, еще в переписке с Вассианом Муромцевым. Это была одна из традиционных тем древнерусской литературы. К ней он вернулся много лет спустя в предисловии к «Новому Маргариту». В примечании к нему, однако, князь Андрей осудил не еретиков, а талантливых поэтов-риторов, скрывавших свои имена: «Некоторые поестове, складающе прекрасные словеса и полезные и таяще имяна свои, подписывалися Златаустовым титулом, что есть непохвално и тщеславно зрится чужим румянцем украшаться» (Курбский 1976, л. 6). Выступая против принятого обычая, Курбский видел в нем не проявление нравственного смирения, чего следовало бы ожидать от традиционалиста, а предосудительное желание украсить свой труд громким именем.²³

Несмотря на стремление официальной литературы XVI в. к монументальному обобщению и этикетности, у писателей того времени существовали разные, иногда прямо противоположные взгляды на текст. Зарождение «литературной теории» в Московской Руси происходило в борьбе идей и концепций. В теоретических установках книжников проявились новые представления об индивидуальном творчестве, авторской собственности и праве. Рост писательского самосознания, как показал Д. С. Лихачев, стал одной из основных тенденций в развитии русской литературы XVII в.²⁴

²⁰ Максим Грек. Соч. Казань, 1862. Ч. 3. С. 251—252.

²¹ См.: Успенский Б. А. История русского литературного языка (XI—XVII вв.) München, 1987 С. 56.

²² Гранстрем Е. Э. Иоанн Златоуст в древней русской и южнославянской письменности (XI—XIV вв.) // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29 С. 187.

²³ Успенский Б. А. История... С. 57—58.

²⁴ Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков. Эпохи и стили. Л., 1973 С. 144—146